



Из предисловия переводчика

Я впервые узнал Руставели в океанском просторе, невдалеке от Канарских островов, на английском корабле, носившем имя красиво-мудрой богини Афины, где я познакомился с Оливером Уордропом, который дал мне прочесть находившийся при нем в корректурах английский перевод «Витязя в тигровой шкуре», сделанный с великой любовью его сестрой, Марджори Скотт-Уордроп. Прикоснуться к грузинской розе в просторе океанских зорь, при благом соучастии Солнца, Моря, Звезд, Дружбы и Любви, и диких вихрей, и свирепой бури, это — впечатление, которого забыть нельзя.

Океан своим голубым окружением уводит душу от малого к великому, наполяет мечту восторгом пространства, создает свежий дух и творит в глубине жемчуга. Ветер поет о цветущей степи и шепчет волну цветочного запаха. Любовь зажжет, обожжет, озарит и явит пламени. Народ, если он великий, создаст песню и вынесит в лоне своем мирового поэта. Таким венценосцем в веках, еще доселе неузнанный русскими, был избранник Грузии, Шота Руставели, давший в XIV в. своей родине знамя и зов —

«Вепхвис Ткаосани», «Витязь в тигровой шкуре». Это лучшая поэма любви, какая когда-либо была создана в Европе, радуга любви, огневой мост, связующий небо и землю.

Как Гомер есть Эллада, Данте — Италия, Шекспир — Англия, Кальдерон и Сервантес — Испания, Руставели есть Грузия. Каждое из этих бессмертных имен не только имя поэта, вознесенного вечной славой, но и лучезарное означение души, которая сумела воплотить в себе сокровищницу духа целого народа, этой душой воссиявшего, в этой душе расцветшего цветком пышным и не повторяющимся.

Но во всей европейской поэзии ни с чем, быть может, нельзя сравнить несравненную поэму грузинского певца, кроме лучшей средневековой сказки любви и смерти, — я говорю о бретонской повести Тристана и Изольды, слагавшейся приблизительно в одно и то же время, что и напевное сказание Руставели, в XI—XII вв. Два эти замысла, бретонский и грузинский, слагались, конечно, в полной независимости один от другого, между ними были пропасти и непроходимые пространства. И, однако, напряженность душ, прикосновение к любви настоящей, пронзенность изображаемых и другие условия художественного живописания создают странное родство двух этих произведений. Когда, воспроизводя все уцелевшие обломки гениальной бретонской повести, Бедье начинает: «Сеньоры, выслушайте прекрасную сказку о любви и смерти, сказку о Тристане и Изольде-королеве», — мне хочется переименовать: «сказку о Таризле и царице Нестан-Дареджан, сказку об Автандиле и Тинатин-царице». Когда я читаю в бретонской повести, что оруженосец Горвеналь научил семилетнего Тристана действовать копьём, щитом и луком, научил его ненавидеть ложь и держать данное им слово и научил ребенка так ездить верхом, что его лошадь, оружие и он сам казались одним неразделимым целым, я не могу не вспомнить вороного коня, на котором проезжает в веках витязь в тигровой шкуре.

Данте, явив чету влюбленных, заколдовал их чарой Смерти и озарил пламенями Бездны. Только так он смог даровать своим влюблен-

ным бессмертие. Бретонская легенда, менее нуждающаяся в подмоге церковных кошмаров, лишь озаряя своих влюбленных беспредельностью их испытаний, сумела дать им бессмертие, все же опять опираясь на чару смерти. Смерть как художественный прием есть легкое колдование.

Руставели выше этих поэтов, ибо в своих волшебствах он колдует жизнью. Проведя своих любящих через всевозможные пытки, он им дает в жизни засиять таким блеском, что умереть они уже не могут никогда. В этом такое же преимущество грузинского гения над его европейскими современниками и певцами позднейшими, как среди драматических гениев индус Калидаса выше своею «Сакунталой», — где, в конце концов, колдований дьявольских, колдований смерти нет, и есть полная гармония счастья, — выше и совершеннее любого гения Европы, будь то Софокл или Шекспир, и как Восточный край неба всегда богаче своими красками, чем край Закатный.

Но Руставели, расцветив цветы пышнейшие алого цвета, смог передать векам еще другое чарование своей высокой души. Озаренный белым сиянием, он живет в памяти людей и в народной мечте, в народной песне родной страны, как изысканный любовник своей пламенной мечты, любивший любовь свою во имя любления, без чаяния достичь любовью свою любимую.

Я перевожу поэму Руставели размером подлинника, лишь с некоторым изменением в порядке рифм. В четырехстрочии Руставели, восьмистопный трохей, четыре раза повторяется одна и та же рифма, — я преломляю каждую строку рифмой, повторяемой трижды в каждом двустрочии, причем конец каждой второй и четвертой строчки связан, кроме того, самостоятельной рифмой. Таким образом, в каждом четырехстрочии у меня восемь рифм, и в шести тысячах строк всего текста Руставели, в русском ее лице, будет двенадцать тысяч рифм. Эта добровольно наложенная на себя тяжесть выполнения вызвана не произвольною прихотью, а желанием дать в русском стихе достойное отображение пышной красоты, мною увиденной, звуковую равноценность которой Руставели

достигает, опираясь на большую звучность грузинских слов, построенных на мужественной силе согласных. Быть может, это — задача невозможная, но старинные испанцы говорили: «Невозможное мне правится», «Люблю побеждать невозможность».

